

КНИГА ЗА КНИГОЙ



Виктор Авдеев

КРЫЛАТЫЙ СВЯЗИСТ

*Издательство
„Детская литература“*

Цена 8 коп.

Папка 11 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В серии «Книга за книгой» в 1974 году вышли
и выходят следующие книги:

Богданов Н. БАЗА ВЕРХОЛАЗА.

Рассказы о труде

Драбкина Е. ИСТОРИЯ ОДНОГО КАРАНДАША

*Рассказы о революции, о первых
годах Советской власти*

Жариков Л. БОГ И ЛЕНЬКА.

*Рассказ о мальчике, сыне шахтёра; события происходят в
маленьком шахтёрском городке в дореволюционные годы*

Миксон И. ОТЗОВИСЬ!

*Рассказы о Великой Отечественной
войне, о героизме советских людей.*

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести
в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Виктор Фёдорович Авдеев

КРЫЛАТЫЕ СВЯЗИСТ

Рассказы

Ответственный редактор Л. И. Доукина. Художественный редактор Б. А. Дехтерёв. Технические редакторы Н. Г. Мохова и О. В. Кудряцева. Корректор В. К. Мирингоф.
Сдано в набор 21/II 1974 г. Подписано к печати 27/VI 1974 г. Формат 60×90/16. Бум. типогр. № 1.
Усл. печ. л. 3. Уч.-изд. л. 1.95 Тираж 750 000 (375 001—750 000) экз. Заказ № 2272. Цена 8 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Ч.
кассский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росг.
полиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, по-
графии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.



ВИКТОР АВДЕЕВ

КРЫЛАТЫЙ СВЯЗИСТ

РАССКАЗЫ

**Москва
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1974**

Легендарная, вечно живая героиня гражданской войны встаёт со страниц рассказов Виктора Авдеева. В них живут и действуют ребята фабричного посёлка, портового городка. Автор рассказывает об их самоотверженной помощи революционным матросам, разведчикам. Вот Пашка Заруба, рискуя жизнью, буквально из-под носа у белоказаков выхватывает почтового голубя, пущенного краснозвёздным лётчиком («Крылатый связист»). Вот воспитанник приюта Савка разбрасывает в приазовском городке листовки («Феномен»). А герой рассказа «Интернационал» капельмейстер Юсолов жертвует жизнью за власть Советов, за новое искусство.

Напишите, понравилась ли вам эта книга. Отзывы о ней присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки И. Пахолкова

Авдеев В. Ф.

Крылатый связист. Рассказы. Рис. И. Пахолкова. М., «Дет. лит.», 1974.

48 с. с ил.

Рассказы о ребятах, их самоотверженной помощи матросам, разведчикам; о солдате, который погибает за власть Советов. События в этих рассказах происходят в годы гражданской войны.

А 70802—538
M101(03)74 182—74

P2

КРЫЛАТЫЙ СВЯЗИСТ



I

Матрос Хобля, связной штаба красноармейского полка, со своими почтовыми голубями расположился у солдатки Зарубы, на краю слободки. С рассветом хозяйка уходила на ткацкую фабрику. В избе оставался её сынишка Пашка, вихрастый широкогрудый мальчишка, конопатый, точно кукушкино яйцо. Ноги Пашки болтались в материнских штиблетах, как толкачи в ступе, передний зуб был сломан в драке, и он ловко сплёвывал через него, на зависть всем ребятам слободки. Весь день Пашка крутился возле голубей, и матрос подарил ему штаны, широкие, точно колокол. Мальчишка подсучил их, вышел на улицу и остановился на углу, важно сунув руки в карманы.

На солнцепёке, у фабричной стены, ребята играли в бабки. Они бросили игру, окружили Пашку.

— Чего же ты, Щербатый, не выходишь гулять? — заискивающе спросил его закадычный приятель Лёвка Мухрай, скуластый, с узкими зелёными глазами и в картузе с оторванным козырьком. — Задаёшься? А мы снаряд нашли!

— Некогда, — сказал Пашка и выставил ногу. — Занятый голубями.

— Покажь почтовых, я те свинчатку дам.

— Это военных-то? Сходи на базар, кур погляди.

Ребята почтительно замолчали.

Пашка снисходительно позволил товарищам пощупать добротность сукна на своих штанах.

— Постоялец мне картечин дал, он у большевиков за главного. Как не схочет голубями почту пересылать, то красные и не узнают, где сидят кадеты. Сам товарищ Ленин про воздушную связь интересуется.

Пашка вынул из кармана ореховую рогатку с красной резиной, вырезанной из кишки клистирной трубки, заложил картечину и стал искать глазами, во что бы выстрелить. Лёвка Мухрай знал слабость приятеля; он поднял ржавую банку и высоко кинул в небо. Пашка прицелился, сильно растянув резину, и на лету сшиб банку.

— Здорово! — не удержался один из ребят.

Пашка ловко сплюнул сквозь щербатый зуб, сунул рогатку в карман.

— Ладно уж, — смягчился он. — Тебе, Лёвка, я почтарей покажу, а вы, ребята, можете поглядеть через забор, я прогонять не буду.

Лёвка Мухрай имел свою голубиную «охоту», его приглашали в зарубинский двор как «эксперта-специалиста», способного по достоинству оценить

почтарей. Пашка свёл его на свой грязный двор, заросший лебедой, с обломанной рябиной у крыльца. Передвижная голубятня полкового отдела связи была установлена на крыше дровяного сарайчика, и к ней вела приставная лестница. Пашка открыл лётник; за проволочной сеткой в гнездовых ящиках с ярлычками парами сидели разномастные почтовики. Обоим ребятам особенно понравился голубь по кличке «Смелый» — с широкой краснопёрой грудью, ровным зашейком и мягким белым наростом, доходившим до половины клюва. Крылья у птицы были длинные, широкие в размахе и почти перекрещивались над узким, сжатым хвостом, состоявшим из двенадцати рулевых перьев, а яркие глаза говорили об остром зрении и отменном здоровье. Голубь хищно сипел, царапался, клевал Пашке руку, а тот блаженно улыбался.

— Видишь, Лёвк? Долбает до крови. Не привык ещё. Я ему сейчас дам горошку. А кольцо алюминиевое на лапке заметил? О брат! Каждый почтовик имеет свой номер, адрес... Их всех в особую тетрадку записывают.

— Ух ты! — выдохнул Лёвка Мухрай.

— Одна пара военных почтарей всей твоей «охоты» стоит. Скажешь, нет? На слободке у нас таких и не видали.

Всего неделю назад не было у Пашки Зарубы большей страсти, чем стрельба из рогатки, игра в бабки. Целыми днями — и в дождь, и в мороз — шатался он по кривым улицам, пустырям, огородам. От Пашкиных кулаков ребята с чужих улиц то и дело украшались синяками, у соседских хозяек частенько пропадали из погребов горшки с молоком.

Приезд отдела связи точно встряхнул мальчишку. Теперь Пашка не отходил от голубятни, круглыми днями «трухал» военных почтарей, приучая их к новому двору, кормил в передвижной «столовой», таскал коноплю, менял воду в поильне и выбегал приглядеть «охоту» даже ночью.

От матроса Хобли Пашка узнал о повадках этой породы голубей. В лёт почтовика пускают с руки, точно сокола. Его можно в закрытой корзине увезти за сотни вёрст, в совершенно незнакомую местность, и голубь вернётся и найдёт свою крышу. «Родной» дом притягивает его, будто магнит. По дороге он на чужую голубятню не присядет, в незнакомые руки не дастся. Порой почтовики работают и на море, попадают в туман, дождь, сильный ветер; те, которые не погибают в дороге, обязательно выбиваются на землю, где их ждёт голубевод, свежее зерно...

Обед себе матрос приносил из полевой кухни в двух котелках: наваристые щи с мясом и кашу. Ещё в первый день, поймав Пашку за вихор, он придвинул к нему ковригу хлеба, солдатскую ложку и спросил с напускной строгостью:

— Твои какие политические убеждения, оголец?

— Мне фабрикант чуток ухо не оторвал,— подумав, сказал Пашка и набил рот кашей.— Жалко, что он сейчас убёг с беляками, а то б я ему с рогатки очко подбил.

— За что ж фабрикант тебя так отделал?

— Я его сынку велосипед спортил. Катается этот барчук Гарря—Гришка по-нашему—и катается: дзинь-дзинь-дзинь! А велосипед новенький, о двух колёсах, шины дутые—как заправдаш-

ный. Конечно, все слободские ребята за ним табуном, и я полюбопытствовал: из чего машина сделана? «Не трогай грязными руками!» Это мне Гарря. Да что я её, съем? Откуда тут ни возмись — гувернант из иностранцев. Хлысь меня заморским костылём по ногам! «Ещё спробуешь?» И скалят зубы вместе с барчуком. Я тогда: «Спробую», а сам от слёз ничего не вижу. Обтёрся, схватил кирпичину и ка-ак жажну по спицам! Прямо посыпались... Ну, вечером сам фабрикант приходил в избу, кричал на мать: «Обштрафую! Выгоню!» — и вот ухо мне накрутил: думал, оторвёт. Пальцы у него в перстнях, в кровь изодрал. После ещё и мать бельевой верёвкой всыпала.

— Обработали, значит? — подмигнул матрос и захохотал. — Ничего, Пашка, злей будешь! Доверяю тебе своих летунов... А вырастешь — подавайся юнгой на флот.

И разрешил Пашке ухаживать за почтовыми голубями.

По утрам, встав с гамака, подвешенного между обломанной рябиной и дровяным сарайчиком, Хобля расчёсывал костяным гребешком волосы, разглядывал своё рябое лицо в туалетное зеркальце, оправленное в фольгу, и говорил: «Рыжий да рябой — самый дорогой». Матрос надевал набекрень бескозырку с лентами, чёрный бушлат, горевший начищенными пуговицами, и отправлялся в штаб полка. Солнце палило слободку, тени от вётел ныряли в мелководный вонючий пруд, от жары труба фабрики, похожая на гигантскую сигару, казалось, тихо дымила. В грязных лужах похрюкивали свиньи, по дворам на верёвках сушилось бельё, окна изб зевали раскрытыми ставнями, из тракти-

ра доносилось визгливое пение шарманки. Матрос шёл, выпятив грудь, раскачиваясь, точно в шторм на палубе; пот струился по его красному лицу, и он молодецки поглядывал на девушек-ткачих.

Вернувшись на квартиру, Хобля подзывал Пашку, строго расспрашивал, как он обучает голубей лёту, и заваливался спать на траву, подставив солнцу пятиконечную звезду, вытатуированную на молодецкой груди. Проснувшись, он показывал огольцам широченную спину, руки, похожие на узловатые дубовые корневища, и заставлял мускулы танцевать под марш, который насвистывал сквозь зубы. Ребята были очарованы.

Лето заткало пруд ряскою, замолкли лягушки. Красные части обжились в слободке. Бойцы старательно поливали огороды, чинили заборы. Девушки ходили весёлые, и в фабричном клубе под кумачовым знаменем сыграли не одну свадьбу.

II

С юга наступали деникинцы. Орудийный гром накатывался на слободку, и стало видно, как в степи, где проходила линия обороны, вспыхивают огни разрывов, к небу тянутся чёрные столбы земли. Красные начали эвакуировать свои учреждения, фабрика тревожно затихла, ткачихи сменили веретёна на лопаты — рыли на окраине окопы.

Знойным полднем к Хобле пришёл военный в кожаном шлеме, с виду похожий на лётчика. Они поднялись на голубятню, и матрос впервые не пустил туда Пашку. Мальчишка остался томиться внизу на дворе и от нечего делать начал сбивать из рогатки зелёные яблоки в соседнем поповском саду.

Минут десять спустя Хобля и военный в кожаном шлеме спустились с крыши сарайчика; в клетке у лётчика сидел почтовый голубь.

— Куда это он Смелого забрал? — спросил Пашка у матроса, когда они остались вдвоём.

— Аккурат в то место, до которого тебе заботы, как блохе до граммофона. Понятно? И брысь отсюда!

Пашка удивлённо поднял брови и хотел переспросить: «Ну, и куда Смелого забрали?» — но встретил суровый, почти злой взгляд матроса и, деловито сплюнув, сунул руки в карманы дарёных клёшей.

— Так бы и сказал. А то объясняется...

Перед закатом с аэродрома поднялся самолёт и, набрав высоту, скрылся за лохматыми оранжевыми облаками. Матрос и Пашка проводили его долгим взглядом, переглянулись и молча уселись на крыльцо.

— Голубей тоже в отступление повезёте? — угрюмо осведомился Пашка.

— Может, генералу на борщ оставить? Не треснуло б у него брюхо.

— Когда ж повезёте?

— Чего прилип? Без тебя тошно!

Дома Хобля не ночевал. Слободка не спала, но в избах огня не вздували. Орудийная пальба внезапно оборвалась: наступило томительное, злое затишье. Трактирщик запер на железные крючья ставни своего заведения; протяжно завывали собаки в подворотнях; иногда, глухо позвякивая оружием, проходили отряды красноармейцев.

Поздний вишнёвый месяц поднялся над глухими корпусами фабрики. Сквозь мутное оконце

Пашке была видна пустая улица, пруд с вёслами. Из-за угла, со стороны церкви, показались тёмные фигуры конников; они осторожно двигались серединой дороги. Вот уже слышен топот копыт, в неясном свете блеснули наконечники пик: казаки. Пашка, против воли, отодвинулся в глубину комнаты.

Неожиданно с пустыря напротив выскочила кучка красноармейцев и, стреляя, рассыпалась вдоль забора. Передним бежал матрос. Бушлат на нём был распахнут, он поминутно останавливался и бил из винтовки с колена. Казаки шарахнулись, завернули лошадей и ускакали к церкви, взбив пыль.

Красные начали отступать к городу. Несколько бойцов поспешно выносили со двора солдатки Зарубы ящики с голубями. Пашка кинулся к двери и в сенях столкнулся с Хоблей; матрос больно схватил его за плечо, зашептал в ухо:

— Слышь, малец, уходим пока. Следи — может, ненароком Смелый вернётся: лови тогда. Лучше убей, а чтобы голубь белым не попался! А то вернёмся, кишки из тебя выпущу, понятно? — Матрос оглянулся на открытую дверь, где на чёрном небе блестел круглый рыжий месяц. — Словом, это... ну... Смелый должен плёнку коллодия принести. Письмо шифрованное. Ясно? Письмо у него к лапе будет подвязано в такой жестяной трубочке... или в непромокаемом кошельке к груди тесьмой притянуто. Там увидишь... Лётчик у денкинцев в тылу, и, если с ним авария или у партизан задержится — голубь для связи. От весточки этой белым — ханá. А я тебе маузер тогда подарю. К себе в помощники возьму голубей трухать. Ну...



С пустыря выскочила кучка красноармейцев.

Отдалённый взрыв потряс воздух, и тревожный свет озарил сени. Хобля вдруг обнял мальчишку: — Ни гугу об этом... даже матери родной!

Он легонько оттолкнул Пашку, выскочил из ворот и бросился за бойцами. Улица опустела.

Всю ночь Пашка проворочался на сундуке, где ему стелили соломенный тюфячок.

Встал он с зорькой, вышел во двор. Над фабрикой висел трёхцветный флаг.

III

Слободка словно затаилась. Ткачи отказывались становиться к станкам, и фабрика походила на заброшенную. Летними вечерами оркестр денинkinцев наигрывал в клубе мазурки, вальсы, но залы пустовали, а девушки оплакивали «зазноб», ушедших с большевиками. Мальчишки не вертелись вокруг походной кухни, не просили у казаков лошадей — «покупать в пруду».

У вдовы Зарубы остановились трое казаков. Они носили шаровары с красными лампасами, круглые бороды и серебряные медали, похожие на полтинники. Пашка выказывал к ним полное презрение и даже, когда постояльцы, выйдя на крыльцо, смазывали маслом затворы винтовок, не оставливался поглядеть. Он словно повзрослел за одну ночь, перестал воровать молоко из погребов, реже дрался на улице, и мать не порола его бельевой верёвкой.

Крыша зарубинского сарайчика опустела, её уже не украшала передвижная голубятня. Но Пашка целыми днями торчал во дворе, и часто можно было видеть, как, задрав конопатый нос, он при-

стально и подолгу смотрел в небо. Слободские ребята диву давались — что стряслось с их заводилой и коноводом.

— Гля, Щербатый, жарынь какая! — говорил ему Лёвка Мухрай. — Айда на пруд — окунёмся!

— Некогда, — мотал головой Пашка. — Занятый делами.

— Какими делами? — удивлялся Мухрай. — Слоников гоняешь по двору?

— Готовится в огородные пугалы, — вставлял кто-нибудь из ребят.

В ответ Пашка презрительно сплёвывал сквозь щербатый зуб и глубже совал заскорузлые кулаки в карманы матросских штанов. Когда шутки товарищей становились слишком язвительными, он бледнел, угрожающе поднимал правую бровь; ребята начинали потихоньку пятиться, а он круто поворачивался и уходил в избу.

Миновала неделя.

Орудийная канонада затихала далеко за городом, белые с боем взяли узловую станцию, и Пашка Заруба не выдержал: ушёл с друзьями на разрытое снарядами поле собирать гильзы. Вернулись поздно, и все мокрые: на обратном пути застал грозовой дождь. Вечерело. Молча высились корпуса фабрики, и огромная труба напоминала погасшую сигару; избы слободки стояли влажные и потемневшие, по колеям раскисших дорог бежали ручьи, неся пух, щепки... На углу Пашка простился с ребятами и зашлёпал босыми ногами домой. От горизонта тянулась яркая радуга, аспидная лохматая туча уходила на запад, небо синело над поповским садом, и в свежей зелени листвы тихо светились яблоки.

У раскрытой калитки стоял казак с медалями, а через улицу с крылечка трактира хозяин говорил ему голосом, звучно разносившимся в чутком воздухе:

— Я и толкую, у солдатки матрос воздушный стоял, и голубь, должно, необнаковенного роду.

Пашка задрал голову, и ноги его отяжелели, как бабки, налитые свинцом.

Над двором широкими кругами ходил его любимый красногрудый почтовик, несколько дней назад увезённый лётчиком. Он, видимо, искал свою голубятню и не знал, куда сесть.

Пашка не помнил, как возле него очутился трактирщик в лакированных сапогах и белом фартуке и казак с медалями. Оба они тыкали вверх пальцами, что-то ему говорили, и Пашка, точно сквозь сон, улавливал отдельные выражения:

— С полчаса летает... А тебя голубь знает, пойдёт в руки... Ступай слови...

— А зачем вам? — сказал Пашка и растерянно оглянулся.

К нему вплотную приблизилось бабье лицо трактирщика с жидкими усиками.

— Не прикидывайся казанской сиротой! Своего рябого морячка обратно дожидает? Не пришлось бы по нему молебен заказывать! Отошли для вас... красные деньки, белое солнышко засветило. Ты, Пашка, лучше не кобенься! Гляди, как бы мы тебе кой-чего не припомнили! — Трактирщик заговорил с присвистом: — Большевику прислуживал? К бабтюшке Ионе в сад лазил крыжовник воровать? Ох, и спустят тебе господа деникинцы портки да и всыпят нагаёв... Это выйдет покрепче бельевой верёвки.

— Ну и жальтесь! — грубо выкрикнул Пашка и отступил шаг назад. — Жальтесь! Испугался?

Пухлая рука трактирщика цепко схватила его за рубаху. В мокрую траву из-за пазухи посыпались пустые винтовочные гильзы, патроны.

— Для тебя ж хочется лучше, — зашептал трактирщик, и его хитрые заплывшие глазки совсем сузились. — Голубем этим сам господин хорунжий интересуется. Скумекал теперь? Вот и окажи услугу... Пашка, я знаю, ты любитель до голубей, потому и матросу помогал. Песенка этого почтового всё одно спета. Споймай его — и тогда он насовсем тебе останется. Насовсем. Письмецо у него только снять надобно. А я тебе ещё гостинцев дам. Ну?

— Будя раздумывать! — сказал казак. — Давай полезай!

Пашка не успел прийти в себя, как здоровенные руки казака сдавили его рёбра, ноги мальчишки оторвались от земли, и он очутился на покрытой толем крыше дровяного сарайчика. В руках у него оказалось лукошко с зерном, но он не стал приманивать голубя. Солнце было похоже на желток яйца; влажные яблони сада, обсыпанную дождём лебеду двора перерезали тени. Ладная красногрудая птица опустилась ниже — и у Пашки в глазах зарябило.

Он зажмурился. Опять глянул.

Это был не мираж. В небе над крышами слободки ходила целая стая голубей: белые николаевские, мраморные, сплошные рыжие, мохноногие, красно-сизые, хохлатые, монахи... Казалось, это раскололась и мелькала в воздухе цветистая радуга. Слышались только хлопанье и свист крыльев. Одна пара, поднявшись высоко, точно застыла в

воздухе: «стала точкой». Голубиная «охота», делая круги, кувыркаясь, планируя, всё ближе подходила к почтовому, будто приглашала его в компанию. И Смелый начал суживать кольца своего полёта. Вот-вот стая сольётся с чужаком...

— Кто это ловит голубя?

Голос — со двора. Там прибавилось несколько деникинцев, блеснули золотые погоны.

— Мальчишки, верно, ваше благородие.

— Прекратить немедленно!

— Слушаюсь.

Солдат, обутый в американские ботинки, выбежал из ворот исполнять приказание офицера. А Пашка уже в следующую минуту угадал, чья это летает «охота» — Лёвки Мухрая. Вон он и сам на трубе, в картузе без козырька, с азартом машет пугалом. Очевидно, догадался, что это почтовик матроса и его надо перехватить. Возможно, и просто захотел поймать чужака.

Пашка торопливо заложил два грязных пальца в рот и пронзительно свистнул, отгоняя голубей, а вместе с ними и Смелого от своего дома.

Птицы, словно перепуганные насмерть, шархнулись так резко, что мальчишка удивлённо оглянулся. Глаза его в ужасе округлились: со двора в небо плавно поднимался молодой сокол, а высокий деникинец, стоявший возле колодезного сруба, ещё не снял с руки перчатку, с которой спустил только что принесённого хищника. Сокол — обученный истребитель почтовых голубей. Он меткий и беспощадный снайпер. Вся Лёвкина голубиная «охота» отхлынула от сокола, рассыпалась по низу сада, а Смелый остался один в небе, тоскливо заметался...

— Осадку! Давай осадку! — заорал Пашка и затопал ногами.

Слова его едва ли могли долететь до Мухрая. Но тот, и сам зная, что надо делать, подкинул в это время оставленного про запас голубя с подстриженными крыльями и торопливо стал сыпать зерно. «Осадка» обычно сразу опускается на свою крышу, начинает клевать, и её примеру следует вся стая. Хозяин тянет конопляную дорожку к лётке, птицы, набивая зоб, заходят в голубятню и с ними чужак — там его и ловят.

Однако в этот раз «осадка» совсем не пошла в лёт и, сделав кривую, забилась на чердачное окно. Мухрай в отчаянии хватил пугалом о землю: голуби его пропали. Теперь они разлетятся по всей слободке, и потом их поймают другие голубятники. Пашка тоже понял: спасти Смелого невозможно. У него навернулись слёзы, и он боялся поднять глаза, чтобы не видеть гибели своего любимца.

Вдруг он торопливо выхватил из кармана горсть картечи, сорвался с крыши.

Сокол взвился над голубем, который теперь панически носился над самыми яблонями сада. Снизу, со двора, деникинцы с интересом наблюдали эту дикую охоту.

— И скажи на милость, недаром говорит половица: «От страха каждый даёт маху», — показывая на Смелого, сказал солдат в американских ботинках.

— Известно, — отозвался кряжистый казак с урядничьими лычками. — Домашние голуби, они понимают, где схорониться, вот и рассыпались. А почтовый не приучен к чужим насестам, притом у него задание к этому двору.

Рассчитав направление для удара, сокол выпустил когти и, видно, приготовился сложить крылья, чтобы камнем упасть на спину Смелого. Но в это мгновение произошло что-то непонятное: от голубя полетели красные, сизые перья, он как-то странно перевернулся на спинку и кувырком — турманом — сам стал падать в поповский сад.

Казаки с удивлением глянули через забор. В поповском крыжовнике мелькнула коренастая фигура мальчишки в матросских штанах, подсученных до колен. В левой руке его была зажата ореховая рогатка. Все невольно перевели взгляд на крышу зарубинской избы: она была пуста.

Офицер выхватил наган, просунул его между досками, навёл на крыжовник. Раздался сухой треск, закурился дымок...

IV

Овин стоял на краю слободки. Внутри было темно, пахло затхлостью и мышами. В ворохе прошлогодней соломы, согнувшись, лежал Пашка Заруба. За пазухой у него тихо сидел пригревшийся почтовый голубь. Мальчик осторожно гладил его упругие окровавленные перья, горячо шептал:

— Гу-улюшка, гуля! Я ведь не со зла тебя картечиной. Крыло перешиб?.. Ничего, срастётся, ещё как летать будешь! Я тебя больше никому... помру, а не отдам, вот лопни глаза! Погоди, совсем смеркнется — подадимся до матроса Хобли через фронт. Письмо-то у тебя целое?.. Вот оно. А с тобой, Смелый, мы домой, сюда, вернёмся... И не одни: вместе с голубятней.



Овдовев, Степанида Оськина, жена станичного звонаря, получила место сторожихи в церковно-приходской школе.

По вечерам к ней в дом собирались станичные бабы. Они вязали шерстяные чулки, лузгали семя тыквы и распускали языки на всю сторожку. В печных вьюшках гудела метель, к тёмному стеклу со стуком прилипал снег, и казалось, что это плачет неприкаянная душа покойника. Шестилетний Филька, лёжа на жаркой печи, слушал рассказы про ведьм, домовых, и спину его кололи мурашки, точно по ней перекаtywали ежа.

— И вот, бабоньки,— говорила знахарка, дородная и зобатая, словно гусыня,— стал он по дорогам мутить православных. А где завидит крест святой, так изо рта у него огонь и пыхнет. Люди и

прозвали его «красный». Большевик. Вот прёт теперь из Расей... безбожник. Конец свету наступает.

Бабы ахали.

От старших Филька давно слышал, что на их станицу идут какие-то «красные», лапотники. Хотят отобрать у казаков землю, сады и всех выселить в степь. Сухорукий атаман уже бежал за Дон, позабыв у столяра отданную в починку булаву — знак власти.

Отпустили морозы. В полдень через станицу проскакал куций отряд казаков. Напротив дома почтаря одна лошадь неожиданно пала. Казаки с бранью выпрягли другую, а фуру с какими-то аппаратами бросили. За горою громыхали орудия — точно взрывали лёд на речке.

Открыв поутру глаза, Филька увидел, что мать сердито хоронит за сундук жестяную кружку.

— Большевик красный пришёл, на кухне сидит,— обернувшись, кинула она ему и вышла, хлопнув дверью так, что по горнице прошёл ветер.

В окно смотрел осокорь, с веток падали хлопья мокрого снега. На изгороди по-весеннему орал петух с почерневшим отмороженным гребнем. Филька слез с печки, боязливо заглянул в замочную скважину — в глаза ударил огненный столб. Филька отскочил, но потом разглядел, что это оранжевый полушубок. Большевик сидел на лавке. Лицо у него было в оспинах. На коленях лежала папаха с алой звездой. Может, по этой звезде и называют «красный»? В углу блестели винтовка, котелок.

Внезапно красный встал и толкнул дверь.

— Эй, кто тут? Послушай, малый, где у вас кружка — воды испить. Больно твоя хозяйка сердитая, не желает и разговор слушать.

Филька вскрикнул и бросился в горницу.

В доме, казалось, всё затаилось. Филька накинул шубёнку и вышел на крыльцо. Сырой ветер выдувал откуда-то из-под земли облака, и они высоко бежали по небу, на осокоре охорашивался снегирь, с жёлоба капало. Во дворе Филька снова увидел красного. Тот, видно, только почистил коня (на плетне лежала скребница) и теперь заводил его в сарай, где у Оськиных хранилась солома для топки и жила овца-ярка.

Стены сарая покривились, из крыши торчали стропила. Красный, насупив брови, сплюнул, принёс топор, два осиновых кола и стал их тесать. Стружка от кольев подскакивала высоко, точно живая: казалось, подлетит и стукнет по лбу.

Филька подошёл поближе и, собравшись с духом, спросил:

— Ты... кто?

— Дед Пихто,— усмехнулся красный. Он выпрямился, отёр рукавицей со лба пот.— Одного с тобой теста, да с разного насеста.

— Окстись.

— Для какой пользы? Я, малый, лучше топором перекрещусь.— Он погладил берёзовый держак, произнёс с сожалением: — Погляжу я, ну и тёмные тут у вас на Дону народы.

— Зачем колья взял? Они наши.

— Вот слажу, чего надумал, тогда увидишь.

«Может, красный одни колья себе заберёт, а нас с мамкой не станет выгонять?» — подумал Филька.

Открылась калитка, впустив Степаниду, и Филька побежал в дом. На кухне уселся на лавку и не спускал глаз с окна, выходившего во двор.

Затесав колья, большевик унёс их за сарай и долго не появлялся. Из-за сарая донёсся глухой стук топора — будто били обухом.

«Чего красный там делает? Не хочет ли сжечь подворье?»

Видно, и мать испугалась пожара, потому что выскочила во двор с ведром золы из печки — будто понадобилось выбросить её за сарай — и в дом вернулась озабоченная, с растерянным вопросом в глазах.

— В ум не возьму, — шёпотом сказала она. — С чего это... красный нам сарай кольями подпёр?

Обедать позвали и большевика.

— Спасибо, служивый... товарищ, что помог вдове. Бабе трудно одной по двору управляться, — сказала мать.

— Затем и воюем, чтобы жизнь бедноте облегчить. Узнал, что ты сторожика при школе, вдова, ну где одной по хозяйству справиться? У себя, за Можаем-то, я всё отходничал: плотник я. Топор мне дело привычное, да и по работе соскучился. Вот теперь в деревне у меня осталась хозяйка; сам знаю, как худо одной, если не подсобят люди. Надоело с винтовкой нянчиться, ну да уж конец войны видать, генералы к морю покатились.

Помолчав, Степанида спросила:

— А правду говорят, будто большевики жгут по церквам иконы?

Красный облизал деревянную ложку, положил кверху горбом, показывая, что сыт.

— Мало дров, что ли? — ответил он. — Бога мы отменили, как обман идеологии, а возбранить народу кто может? Теперь свобода. Хоть повесь колокол на шею и ходи звони, хоть с попом поцелуйся.

— А чего ж вы к нам на Дон пришли? Аль в Расее земли мало?

Большевик усмехнулся с явным сожалением:

— Куды поболее, чем у вас. У вас на Дону земли горстка, а в Расее — шапка, да ещё с верхом. Вот заберём у станичных богатеев наделы да вам, бедноте, их нарежем... а война кончится, возвернёмся в свои губернии. Про тебя, хозяйюшка, скажу так: слепой да убогий не знает дороги. Почаще митинги ходи слушать.

Обгрызая баранью кость, Филька слушал добрососедский разговор матери и поглядывал на большевика. В нём было страсть сколько заманчивого: усы, толстые обмотки, граната-лимонка. Пообедав, он сказал «спасибо» и стал чистить ружьё. Филька взял кота Афоньку под живот и полез на печку. Баловаться не хотелось; Филька стал прислушиваться к округлому мужскому говору снизу.

— Думаю, хозяйка, пойти охоткой позабавиться. Нынче лисьи следы видал на гумне. Зараз лисе самая пора мышковать, тут её хоть руками бери. Любопытная она организма: прыгает, танцует, станет на задние лапы, будто служит, и только из норки мышь высунется, как лиса цап — полёвка и пискнуть не успеет.— Заглянув за печку, красный сказал: — Эй, казак! Пойдём на охоту, матери на воротник принесём. Будешь мне патронташ носить.

У Фильки всё внутри оборвалось; он испуганно и в то же время просительно глянул на мать. Степанида, вся раскрасневшаяся, застлала на стол единственную клеёнку, как на праздник. Она улыбнулась сыну. И, обрадованный, забыв всё на свете, Филька сполз с печи и торопливо начал одеваться, боясь, как бы красный солдат не ушёл без него.



На афише перед летним театром «Олимп» был изображён уродливо-могучий человек с красными глазами, в полосатом трико. Раскоряченные буквы объявляли:

ФЕНОМЕН С ТРУППОЙ

1) АТЛЕТИК-САЛЬТОМОРТАЛИСТ. 2) ЛОМАЕТ НА ГРУДЯХ КАМЕНЬЯ ОТ 5 ДО 8 ПУД. 3) СГИНАЕТ В ЗУБАХ ЖЕЛЕЗО. 4) ПОДЫМАЕТ С ЛЕВОЙ РУКИ ЧЕЛОВЕКА. 5) ГУЛЯЕТ ВОСЬМИ НОГАМИ ПО ТОЛЧЕНОМУ СТЕКЛУ.

Артисты представляют драму «Коварная испанка». Гала-номера будут представлены под музыку баяна.

Спешите купить билеты.

Вокруг фонаря перед кассой «Олимпа» кипели ночные мотыльки. Они набивались в карманы, в рот, я вычёсывал их из волос и с завистью смотрел, как в деревянный театр сенили гимназистки старших классов, блестя шёлком локонов; шли ры-

баки, матросы с портовыми девушками; топорща погоны, молодцевато прохромал комендант нашего приазовского городка. Мы, ребята, пытались проскочить с этой толпой, но контролёрша, кудрявая, как пудель, зорко проверяла билеты. Она мне казалась необычайно важной дамой, и я тут же решил, что, когда вырасту, обязательно поступлю контролёром: буду каждый день смотреть спектакли и пропускать всех пацанов из нашего приюта.

Карман моих штанов оттягивал кусок сыроватого, тёплого хлеба. Я мечтал забраться в тёмный угол зрительного зала, жевать и наслаждаться представлением. Когда контролёрше случалось заезжаться, мы гурьбой бросались в широкий проход. Она хватала кого попало из ребят и, мучительно улыбаясь, крутила ему ухо так, что оно багровело, точно кровяная колбаса, но всё же один или двое из нас прорывались в зрительный зал.

Раздался третий звонок. Некоторые ребята пытались своим унижением заслужить милость контролёрши.

— Тётъ,— тянули они наперебой,— пропустите меня, я же к вам не кидался без билета. Тётъ, ей-богу, на порожние стулья не сяду. Стоять буду. Жалко, да? Жалко вам, тётъ? Я вам яблок завтра принесу.

Огни у входа в театр потухли, зелёное окошко кассы закрылось, армянин унёс свой лоток с финиками и коричневыми сладкими рожками. Одиноко белеют на земле окурки, головки тарани, а мы всё ещё чего-то ожидаем. И долго в темноте будут бродить позабытые всеми ребята, прислушиваясь к взрывам смеха и аплодисментам, доносящимся из театра...

Запасная дверь театра вдруг открылась, и из неё выскочил человек в полосатом трико.

— А ну, которые тут пацаны! Давай сюда живо!

Отталкивая друг друга, мы пытались уцепиться за ноги человека. Он быстро оглядел нас, схватил меня за плечо, толкнул к двери, и мы прошли в театральную уборную. В ней пахло стеарином, фанерные стены были покрыты пылью.

— Языком молоть умеешь? — спросил меня человек в трико. — Помощника мне надо. А я тебе за это на мороженое подкину. Ну?

Он подмигнул, а я от волнения не мог выговорить ни слова. Глаза у человека были зелёные, сам он худощавый, но по трико я догадался, что передо мной сам великий Феномен. Никогда бы не подумал, что он такой силач. На руке «атлетика-сальтоморталиста» я разглядел наколку, сделанную тушью: якорь в спасательном кругу. Так он из матросов? Я оглядел уборную, отыскивая остальную трупку. Около гардероба сидела подмалёванная женщина в пышной бумажной юбочке, на полу лежали свёрнутая верёвка, деревянные посеребрённые бутылки.

Мне дали красное трико. Оно резало под мышками, было заштопано в двух местах, но осыпано блёстками и поразило меня своим великолепием.

Поднялся занавес, заиграл баян. Феномен надел матроску, сделал улыбающееся лицо и выскочил на авансцену.

Послышались редкие хлопки.

Артистка курила папиросу и улыбалась, щуря на меня глаза. Я посмотрел на свои голые грязные ноги и подошёл к занавесу. Рампу тускло освеща-

ли четыре керосиновые лампы «Чудо»: электростанция давно была разбита снарядами красных. Тёмный зрительный зал зарябил пятнами белых масок. На подмостках Феномен, ловко выстукивая каблуками, частил тонкой фистулой:

Ероплан летит,
Петли делает,
Ха-ха!
Большевик от офицера
Прытко бегаёт.
Ура!

Он стучал себя ладонью по животу, коленкам, рту — точно стрелял пистонами.

Потом мы представляли драму «Коварная испанка». Феномен изображал непобедимого рыцаря, на голове у него торчал картонный шлем с куриным пером, и он очень важно надувал щёки. Артистка, звеня бубном, извиваясь гибким телом, легко танцевала, прыгала по сцене. Потом рыцарь запел про любовь, хотел обнять красавицу, но она увернулась и выхватила кинжал. По роли тут вышел я. Представлял я какого-то пажу, и роль моя состояла всего из трёх слов: я должен был объявить, что наступают поганые мавры. Стоя за декорацией, я всё время твердил эти слова, но когда вышел на сцену, пол вдруг стал ускользать из-под ног. Я остановился и разинул рот, точно собирался зевнуть. В зрительном зале послышался смехок, непобедимый рыцарь тихонько показал мне кулак и восторженно крикнул: «О, сперва честь, а после дама сердца. Паж, коня!» Гремя сапогами, он замаршировал к выходу.

Я вспомнил слова роли и крикнул вдогонку:

«Наступают Марфы!» Занавес упал до середины и зацепился. Мы с «испанкой» подождали, не опустится ли он совсем, и покинули сцену на виду у зрительного зала.

Послышались жидкие аплодисменты. Кто-то засмеялся, на галёрке свистнули. Объявили антракт, и азовские моряки потянулись в буфет.

В уборной Феномен подошёл ко мне. Я вобрал голову в плечи, ожидая пощёчины. Было стыдно, что цирковая карьера лопнула, не успев возникнуть, и меня вышвырнут со сцены. Феномен взял меня за подбородок и сказал, что его зовут Освальд. Фамилия у него была такая, что я её не мог выговорить.

— Ничего, пацан, ошибка, она наука: как упал, так нос расковырял... В другой раз будешь умнее.

Снаружи послышался осторожный стук в фанерную перегородку. Освальд вздрогнул и поспешно вышел. Я быстро схватил из коробки грим и слоём размазал по лбу, губам: мне всё казалось, что я мало накрашен и это не особенно красиво. Чтобы не заметила Мэри — так звали актёрку, — я схоронился за макет, изображающий старую часовню, и усердно стал втирать краску, как это делал Феномен. Вот бы попросить Освальда записать меня в циркачи! У них не жизнь — одно сплошное представление. И он был такой дока, этот Освальд! Как он здорово отплясывал матлот! И чего у него только не было! Такой длинной рапиры и чувак из малинового бархата я не видел даже у генерала...

Внезапно из-за перегородки до меня донеслись приглушённые голоса:

— Обделал дело?

— В полностью,— ответил незнакомый бас.— Отпечатали афиши— триста штук на стеклографе. Наши рыбаки разбрасают. Ну, а у тебя?! Не освистали?

— Терпят. Как надоело эти дурацкие куплеты петь, выламываться перед белопогонниками. Ну да они скоро узнают... цену моему представлению. Сведения о гарнизоне собрали? Где какая часть стоит?

— Все казармы и квартира генерала на учёте. У беяков четыре орудия, да и к тем снарядов... Голоса ещё снизились.

Я прислушался, но тут мне сделалось тошно от набившейся в рот краски, я стал икать и отплёвываться. Из-за макета выскочил Феномен, лицо у него было бледное, как тесто. За ним я разглядел бородатого человека в брезентовом плаще и рыбацких сапогах и чубатого баяниста.

— Кто тут? Это ты, дьяволёнок, тут путаешься? — спросил меня Освальд и быстро спрятал револьвер в карман.

Я забормотал растерянно:

— Дядя Феномен, возьми меня до себя в трупы. Он повернул меня к двери и дал подзатыльник.

— Отчаливай. А то я и в самом деле состряпаю из тебя покойника.

Очутившись в уборной, я так и не мог понять, возьмёт меня Освальд в актёры или не возьмёт.

Мэри переодевала платье. При виде меня она долго хохотала и велела стереть грим. Лоб, нос, щёки у меня были багровые, как трико, я до боли стал сдирать краску тряпкой, но она не сходила. Мэри дала мне флакон со спиртом. В голове у меня застряла сцена за макетом часовни, и я ломал го-

лову, за что Феномен на меня рассердился и откуда взялся этот бородатый тип в рыбацких сапогах. Чубатого баяниста я уже знал.

«А вдруг они жулики?» — подумал я, разглядывая в зеркале своё полосатое лицо. Зачем бы ему револьвер? Готов побиться об заклад, что это был плоский браунинг номер второй. Мы в приюте знали все калибры оружия.

Голодная жизнь в приюте мне опостылела. Вокруг офицеры, красотки с монистами, господа в белых жилетах, бежавшие из столицы, объедались мясом, распивали шампанское, а мы ходили обучаться в сапожную мастерскую и протирали на коленках штаны перед иконостасом. Скорее бы пришли большевики и уравниали всех в правах!

Послышался звонок.

Второе отделение прошло в цирковых номерах. Освальд, шатаясь, выжимал дутые штанги, которые легко мог подбросить и я. На груди его разбивали камни настолько истлевшие, что они рассыпались при одном приближении молота. Я подносил Освальду зажжённые факелы, он жонглировал и всё время ронял их. Он напружинивался, и двое солдат из партера закручивали ему гнилой верёвкой руки и тело: Феномен ослаблял мускулы и сам освобождался, не трогая узлов. Под конец «гулял» босыми ногами по битому стеклу и показывал фокусы с шариками и платком. Окончив работу, Освальд, весь потный, кланяясь, удалился.

Обыватели нашего городка расходились, недовольные представлением. Брандмайор пожарной команды, смеясь, сказал:

— Вот халтурщик актёришка! Один четыреста зрителей надул!



— Это ты, дьяволёнок, тут путаешься?

Последними покинули театр мы четверо; чубатый музыкант наш через плечо нёс баян. Площадь с обломанными тополями и каштанами утопала во тьме. Спотыкаясь о булыжники, мы спустились к набережной. Внизу шумело мелкой волной Азовское море, смутно белела пена прибоя. Я нёс штангу и коробку с гримом. Напротив мола лепился грязный трактирчик, посещаемый рыбаками и крючниками. Нам отвели комнатёнку, тесную и длинную, как ящик, в котором возят помидоры. Из кухни принесли четыре порции рыбца, мясо, самовар с помятым боком.

Освальд сел на пол. Сняв сапог, он стал разминать пальцы на босой ноге.

— Скажи на милость, снова поранился,— пробормотал он.— И ногу ставлю всей ступнёй, а как пройду по стеклу, поранюсь. Видно, вода держит смелого, а лёд — умелого.

Он умылся и оказался курносым парнем с толстыми губами. Расставив крепкие ноги, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Давно, ещё пацаном, до того, как в матросы податься, я на канатной фабрике работал и вот там меня актёрству старичок циркач обучал. Он сторожем стоял в проходной будке. Вот сейчас и пригодилось, да... не совсем выплясывается. Ничего, пацан: то, что надо, мы всё-таки делаем. Верно? — И он весело подмигнул.

Рот у меня был набит мясом. Я не знал, что ответить, и, чтобы поразить Феномена чем-нибудь необыкновенным, хвастливо сказал:

— У меня отец целых полтора года без обеих ног жил. Сцепщиком на поездах был и попал под вагон. Отрезало начисто...

Тюфяк мне постелили на полу: в приют я должен был пойти утром. От бушлата пахло кислой овчиной.

...Очнулся я от толчка. В порту горел керосиновый фонарь, туман с улицы плотно прилип к стеклу и заглядывал в комнату. Перед тюфяком на корточках сидел Освальд и толкал меня в плечо. У изголовья стояли Мэри и баянист, одетые как в дорогу. Они глядели молча и внимательно, точно не могли меня узнать. Кровати были застланы, будто на них никто не ложился, баул и корзина упакованы.

Я сел и протёр глаза.

— Проснулся, Савка? Вставай, скоро утро, пора в приют.— И Освальд зевнул, поглядел на мух на потолке.— Скажи-ка, браток, ты понимаешь в азбуке?

Директор гимназии, куда нас после революции стали пускать учиться, называл меня неграмотным оболтусом. Мои одноклассники-горожане учтиво расшаркивались перед ним, картавили по-французски; пуговицы сияли на их мундирах; а я всё помышлял, чем бы набить живот.

— Неграмотный... — пробормотал я и отвернулся.

Все трое переглянулись, не скрывая улыбок.

— Очень жалко, а мы книжку хотели тебе подарить,— весело сказал Освальд. Он принёс из угла свёрток бумаг и протянул мне: — Вот афиши, Савка... их всего десятка два осталось. Тут пропечатано, чтобы публика шла глядеть наши аншлаги. Как пойдёшь в приют, разбросай кстати и эту пачку афишек в порту, по городу. Остальные мы разбросаем сами.— Он помолчал.— Только незаметно де-

лай, понял? Патент на это дело надо. Увидят тебя люди, в контрразведку поволокут кишки мотать, а мне штраф влепят. Коли засыпешься, говори про афишки, что нашёл. А лучше держи ушки на макушке.

— Дядя Феномен,— сказал я просительно,— а возьмёшь меня до себя представлять?

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Подходящий ты парнишка, нашего рабочего роду, да маловат для моего дела. Обожди, жизнь, она ещё так обернётся, что актёрскому ремеслу ты обучишься... в наивысшей академии. Ждать осталось недолго.

Освальд поцеловал меня и сунул в руку две солидные кредитки: за работу в театре, «на мороженое».

— Гляди, браток, будь осторожнее.— В голосе его звучала тревога.

Мне надвинули шапку, пазуха у меня отдувалась от афиш, и я пошёл по туманной улице в городок. С моря дул норд-ост, крутые волны прибоя взрывались о прибрежные валуны. С востока полз жёлтый рассвет; качались фонари, бледные после бессонной ночи. На пристани лежали бунты веревок, тара, бочки с азовской сельдью.

Я оглянулся и стал рассовывать афиши.

Около витрин булочных я останавливался и подолгу смотрел на обсыпанные сахарной пылью кренделя и сайки. Всех этих лакомств я могу купить столько, что не съесть за день. Пожалуй, утром я ещё сторгую звонкий чернокожий арбуз на базаре. Есть помятые арбузы, и они дешевле.

Я шёл по кривым улочкам с обомшелыми заборами, с домишками, припавшими к земле, точно

гигантские крабы, и подсовывал афишки под двери.

Одну афишу вырвал ветер. Догоняя, я придавил её ногой и надорвал. С сожалением рассматривая зелёную бумажку, я машинально прочитал строчку и удивлённо вытаращил глаза. Потом испуганно оглянулся, перечитал афишку и при помощи вчерашнего сыроватого хлеба бережно стал расклеивать остальные на тумбах, на скамейках.

Совсем рассвело, когда я постучался в заднее окошко трактира, где помещался «номер». В дверях появился заспанный хозяин в старом пальто поверх подштанников.

— Дядя, тут цирковые у вас на постое...

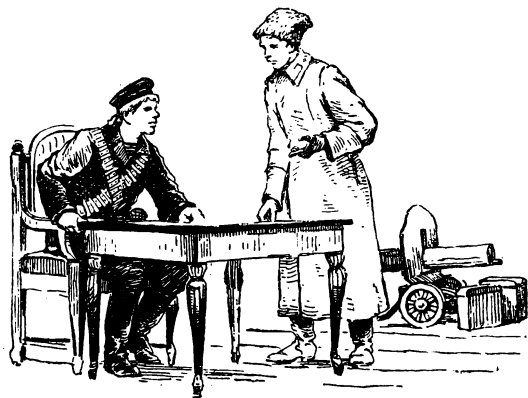
— Были да сплыли! — сердито перебил трактирщик. — Тебя, что ль, будут дожидаться? Ходят тут сорванцы, не дают порядочным людям покою!

Около набережной я остановился. Море пенилось, его бороздили катера, рыбацьи парусники. С хищным плачем носилась над холодными волнами белобрюхая чайка.

Я долго стоял у парапета, вспоминая всё, что пережил за эту ночь.

— Ладно, — пробормотал я. — Оставлю эту порванную прокламацию себе на память. Покажу её ребятам в приюте. Эх, скорее бы подрасти, сам бы раздобыл винтовку и пошёл с Феноменом в красные разведчики. Вот бы где настрелялся вволю!

Я ещё не знал, что не пройдёт и недели, как ночью в нашем порту высадится десант, ударит по казармам белоказаков, захватит сонного генерала в постели, а над зданием городской управы навсегда взвьётся яркий, весело щёлкающий на морском ветру, живой алый флаг.



I

От лимана тянул сырой мартовский ветер, глухо донося звуки снарядных разрывов. На широкой станичной площади у коновязи ржали, брыкались засёдланные лошади, толпились вооружённые кавалеристы с алыми звёздами на папахах, черноморские моряки в бушлатах, перекрещённых патронными лентами. Молодой казачок без шашки, со шпорами прилаживал к шпилью над крышей станичного правления красный флаг. У крыльца в грязи валялась проржавевшая вывеска с царским гербом.

В исполком, прихрамывая, вошёл солдат в юфтовых сапогах и в серой, выдавшей виды шинели. Он объяснил секретарю, что хочет организовать музыкальную школу.

— Чего-о? — отозвался из кабинета румяный

широкогрудый председатель в матросской бескозырке с маузером в деревянной кобуре и двумя гранатами у пояса.— Только что белых из станицы вышибли, у лимана бой идёт, люди гибнут, а ты с песенками...

— Я оркестр не для танцулек хочу организовать,— упрямо сказал солдат Юсалов.— Агитировать стану.

— Балалайками?

— Кто чем горазд.

Матрос нахмурил брови и неожиданно расхохотался.

— Ну-ка, пехота,— сказал он,— давай пробивайся поближе. Толкуй: в чём дело?

Стены в кабинете были совершенно голые, только над деревянным креслом председателя висел небольшой портрет Ленина, вырезанный из газеты. Солдат Юсалов скупно рассказал, что сам он тамбовец, безродный, у людей вырос, плотничал по экономиям, занимался столярными поделками. Самоучкой Юсалов стал разбираться в нотах, обучился играть на гобое. Когда мобилизовали на германца, был зачислен в казачий полковой оркестр. Капельмейстер невзлюбил Юсалова и посадил за барабан.

Началась революция, полк вместе с артиллерией снялся с позиций из-под Эрзерума и ушёл домой. По дороге его безуспешно пытались разоружить белокалмыки. Юсалов, контуженный в бою, застрял в станице. Без дела сидеть он не может, вот и предлагает организовать оркестр.

— А музыкальный инструмент где возьмёшь? — уже весело спросил матрос.— В кузне закажешь? Опять же учителя надобно. Ведь сам-то ты... отставной козы барабанщик?

Тонкие губы Юсалова чуть тронула улыбка.

— А где народ взял винтовки для революции? — негромко, надавливая на слова, ответил он. — Кто ему показал, как бить генералов? Небось и ты сам, товарищ председатель, на флоте не крейсера командовал?

Матрос хлопнул солдата по плечу, долго выводил на листке корявые буквы, потом вынул из кармана завёрнутую в тряпицу печать и старательно подышал на неё.

Из станичного исполкома Юсалов вышел с мандатом в кармане. По вызову к нему явился учитель пения из гимназии, в пенсне со шнурком, и регент церковного хора, дряблый, белёсый, в чесучовом пиджаке, точно вылепленный из теста. Оба по трудовой мобилизации убрали с площади навоз. Юсалов предложил им, вместо общественных работ, перейти на работу в новую школу. Регент и учитель охотно согласились. На станичных заборах запестрели афиши:

Первая музыкальная красная школа

Беднота и граждане, желающие поступить,
приносите, кто имеет,
мандолины, гитары и другое.

Обучение бесплатное.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИСКУССТВО НАРОДУ!

II

В школу набились гимназисты с портсигарами в карманах, скучающие барышни, приказчики с напояженными волосами, пожилые батраки в смазанных дёгтем сапогах. Инструменты, реквизи-

рованные у беженцев — прасолов, атамана, чиновников, — были разбиты, струны порваны. А добираться в Ростов или Ейск трудно: железная дорога работала с перебоями, за станицей рыскали бандиты.

Юсалов вспомнил своё столярное мастерство, надел фартук и сам принялся за переустройство оркестра. Итальянский инструмент мандолину он приладил на квартовый строй — получилась домра. Гитары переделал на басы. Балалайки имелись в избытке. Юсалов выпросил в исполкоме телефонного провода, нарезал из него струн — и организация народного оркестра из «щипковых» инструментов была закончена.

Преподаватели начали знакомить учеников со скрипичным ключом, гаммой. Юсалов добавил, что попутно в месячный срок надо разучить одну песню. Её он перенял от проходившего красноармейского отряда и положил на ноты. Педагоги возмущённо зашумели.

— Позвольте, — выступил регент, нервно пощипывая белый ус, — но ваш метод, гражданин Юсалов, просто, извините... безграмотен. Это равносильно тому, что если бы вы учеников сначала заставили вызубрить наизусть целую книгу, а уж только потом объяснили азбуку. Мы люди честные и калечить молодых людей...

— Я вас не держу, — резко перебил солдат. — Можете возвращаться на общественные работы. А песню эту ребятам сам растолкую, на слух запомнят.

Педагоги пожали плечами.

На первом уроке Юсалов обратился к ученикам с короткой речью:

— Довелось мне, друзья, раз в Киеве оперу послушать, крепко запала она в душу. Вот и открыл я эту школу. Пускай и бедняцкий класс понимает искусство. Покончим с атаманами, заморскими ихними союзниками, придётся нам и свои советские оратории разыгрывать и свои новые спектакли представлять. А ещё и то: я сам служил в полку в оркестре и знаю, как в бою, в походе музыка душу вздымает. Оружием нашим против белых генералов должно быть всё — и шашка, и песня.— Юсалов помолчал, вдруг нахмурился: — А товарищей, которые пришли сюда записочки девицам писать, прошу освободить училище.

За вечерним чаем с пышками гимназисты и барышни рассказывали родным о речах солдата.

В богатых казачьих домах насторожились.

III

Светлый май закурил пылью, в садах над заросшей камышами рекой закуковала кукушка, проклюнулись слабо пахнувшие цветы жёлтой акации. На просторной затравевшей площади вокруг обтянутой кумачом трибуны толпился празднично одетый народ. Звонили колокола двух станичных церквей, заглушая речи ораторов. Митинг кончился, и оркестр музыкальной школы грянул «Интернационал». Громкие стройные звуки взвились к солнцу, как развёрнутое знамя. Обнажились головы. Председатель исполкома приложил сильную короткопалую руку к бескозырке, отдавая честь.

У ограды храма, опираясь на алычовую клюку, стоял старый казак в коричневой черкеске с газырями.

— Кум! — проговорил он. — Что это за такая песня будет? Я её будто не слышал раньше, кум.

Его сосед, дюжий казак в красном бешмете, гнусаво ответил:

— Мабуть, новое «Боже, царя храни».

Оба почтительно обнажили лысины, жёлтые и круглые, точно репы.

Председатель исполкома, улыбаясь, потряс руку Юсалову:

— Добре, капельмейстер. Оправдал ты свою школу. Прими большевицкое спасибо... Какое ж тебе положить жалованье за усердие?

Юсалов хитро прищурился:

— Два химических карандаша и бумаги. Ноты линовать буду.

Он объяснил, что на жизнь подрабатывает столярным ремеслом. А много ли одинокому надо?

— Бедной ты считаешь Советскую власть, — насутился матрос. — Станичный наш исполком в силах содержать и десять оркестров, только б пользу давали. Ладно. Поначалу выпишем тебе продовольственный паёк, а там по смете проведём и оклад.

Когда оркестр уходил с площади, старик салычовой клюкой и казак в красном бешмете плевались и показывали музыкантам жилистые волосатые кулаки.

IV

На другой день Юсалов, доставая из кармана махорку, неожиданно обнаружил почтовый конверт, распечатал его. Вверху тетрадного листа

был нарисован чёрный гроб. Под ним стояла подпись: «Это для тебя, коли не оставишь играть большевицкие панафиды».

Юсалов медленно выпил две кружки воды и пошёл в школу.

Учеников в классе сильно поубавилось: гимназистам надоело заниматься долбёжкой нот, барышням запретили учиться мамыши. И только старательно трудились батраки, казачья голь, преодолевающая мудрёные гаммы. Регент с брезгливым видом ходил по классу, постукивая камертоном.

— Музыка есть молебствие души,— вкрадчиво внушал он, когда Юсалов отлучался из класса.— Музыка требует от нас отрешения от суеты сует... Да не шмыгайте вы носами! Чистые хряки, прости господа.

Солнце упало за осокорь. Хлопнула калитка, и во двор школы вошли трое здоровенных хлопцев. Они уселись на дубовом крыльце напротив окошка. Один из них, с плоским рябым лицом, закурил черешневую трубку. Все трое не проронили ни слова.

Юсалов выглянул в окно и побледнел. С хрустом скомкал в кармане найденное письмо.

— Ребята,— сказал он хрипло,— играйте «Интернационал».

И дирижёрская палочка его стремительно взлетела и опустилась, словно ведя за собой музыку. Юсалов стоял лицом к оркестру, чувствуя свою спину — огромную, точно она заслонила всё окно. Когда обернулся, хлопцев на школьном дворе не было...

Они пришли на другой день в тот же предзакатный час и встали на дубовом крыльце, подпирая крышу, точно три столба. Рябой покуривал трубочку. И опять ученики школы удивлялись, почему им надо прерывать занятия и играть «Интернационал». Едва затихли последние звуки гимна, хлопцы исчезли.

На третий день крыльцо было пусто, и ученики доиграли гаммы до конца.

Но когда с востока к станичной околице подступила густая тьма, в окошко юсаловской хибарки легонько постучали. В углу пустой белёной комнаты на кривоногой койке лежал тощий солдатский тюфяк. Ставни хибарки были перехвачены крючьями, дверь припёрта тяжёлым столом, в замочной скважине торчал ключ.

Стук повторился. Голос с улицы глухо окликнул:

— Отвори, хозяин, по делу надо. Пакет из Совета.

Юсалов, в одном белье, осторожно взял топор, попробовал пальцами зазубренное лезвие и стал в простенке между окнами.

В станице была власть Советов. За станицей, в плавнях,— власть бандитов. Когда поднималось солнце, по улицам свободно ходили работники из политпросвета, народ. Когда поднимался месяц, из плавней крадучись вылезали бандиты с обрезами, растекались по знакомым онемевшим проулкам. Они заходили в хаты к родне, гуляли у невест, пили самогон и сбивали каблуки под гармонику, позванивая в карманах серебряными рублями царской чеканки.

Церковный ктитор зорко следил за теми, кто из

станичников изменяет Кубанской Раде, и царапал карандашом бумагу, старательно составляя список. Первым здесь стоял председатель исполкома, одним из последних — Юсалов. И хлопцы ходили с этими списками по окраинным проулкам, стучали тихонько в отмеченные крестом дома и, если хозяин открывал, уничтожали всю семью.

И только на площадь, где висел красный флаг, освещённый керосиновым фонарём, путь бандитам перерезал исполкомовский отряд. Не раз устраивал отряд облаву — бандиты проскальзывали, как вода между пальцами. Все эти Мыколы, Левки, Опанасы брали вилы, грабли — докажи, что они не мирные хлеборобы. Порука — волчья. Кто бы и выдал — боится.

Всю ночь, до розовой зорьки, не спал Юсалов. Утром спросил в исполкоме:

— Пакет мне с сидельцем присылали?

— Какой?

Солдат рассказал о «гостях». Матрос хмуро задумался, кивнул головой в угол, где в козлах стояли синеватые, смазанные маслом винтовки:

— Возьми одну, пригодится.

Капельмейстер легонько отмахнулся:

— Для чего? Одной винтовкой не оберёжешься. Моё оружие — во! — Он вынул из-за голенища дирижёрскую палочку. — Музыка. Людей надо облагораживать, подымать сознание.

— Верно сказал, — усмехнулся председатель стансовета. — Людей. А бандит разве человек? Коршун. Его хочешь песней растопить? Старый ты воробей, Юсалов, да, гляди, как бы и под тебя мякину не подобрали. Музыка твоя не простая — революционная, от неё кое-кто в станице сна лишил-

ся. За неё ты бороться должен. Отстаивать с оружием.

Юсалов упрямо промолчал.

Он похудел, рыжая щетина сухим репейником обметала скулы, побаливала контуженная нога.

Занятия в музыкальной школе продолжались.

V

Двое станичных богатеев, блестя позументами круглых низких папах, явились к Юсалову. Долго оглядывали инструмент, плакаты на стене.

— Большая голова у тебя, солдат,— осторожно заговорил ктитор,— да не по ней подушка стелена.

Ктитор вопросительно зажал в кулак острую пегую бородку. Юсалов молчал. Он помнил, как, не имея угла, где бы можно было повесить на гвоздь шинель, он четыре месяца проработал у ктитора плотником. Спесивый казак уплатил ему без обмана, но не пускал в дом дальше порога, презирая «голопупого лапотника».

— А пошёл бы ты к нам в церковный хор? — продолжал ктитор. — Не то играл бы по свадебкам. Ибо песни твои... очень они непристойную грубость имеют для уха. Власть, она, конечно, тебе родная, да про то сказать — нищие испокон века голой сумой славились. А мы бы тебе инструментик справили духовой, как в хорошем полку, ну, там... пшенички отвесили, свинку закололи бы к рождеству. Только уважь. Много нам музыка нужна.

Юсалов ответил, с трудом сдерживая себя:

— Отблагодарил бы я вас, дорогие гости, да кнута в доме не держу. Вон бог, а вон порог.

Ни слова больше не сказал ктитор, только глаза его блеснули по-волчьи, а у второго казака-богатея воловья шея стала свекольно-красной. Оба надели папахи и не стали прощаться.

VI

Учеников в школе прибавилось: валила казачья молодёжь. Она подхватила революционные песни, перенесла их на посиделки, гулянки. «Интернационалом» начинались театральные постановки в нардоме, им кончались все собрания. Юсалова выбрали в члены исполкома, назначили жалование.

В конце августа оркестр дал первый платный концерт. Слушать его съехались и из соседних станций. Музыкальные номера прошли под шумные аплодисменты, выкрики: «Повторить!» Ученики исполняли народные «думки», марши, советские песни. Когда программа окончилась, на эстраду поднялся дюжий гнусавый казак в красном бешмете. В руках он держал баранью папаху, по мясистому лицу его текли слёзы.

— Дорогие товарищи! — заговорил казак тонким голосом. — Когда родился Иисус Христос, то на небесах взошла звезда вифлеемская. И кто уверовал, тот ей поклонился. Так и этот оркестр. Кто уверовал в Советскую власть, тот ему поклонится. — Казак повернулся к Юсалову, согнулся, точно складной нож. — От имени соседней вам станции Старо-Щербиновки, где я жительствоваю, прошу и у нас организовать большевицких музыкантов.

Воскресным утром Юсалов, бодро прихрамывая, вышел из дому. От садов, приречных камышей хорошо было видно Старо-Щербиновку, её церкви с горевшими на солнце крестами. К станции вёл гладкий шлях, подковой огибая плавни. Голубело высокое небо, и, точно надутые ветерком, плыли по нему белопарусные ладьи облаков. В воздухе ныряли жаворонки, серебряными рублями блестела рябая вода в мочажинах.

Но не отошёл Юсалов и трёх вёрст от станицы, как дальше не оказалось дороги. Из плавней вышли трое хлопцев с гнусавым казаком в красном бешмете и перерезали ему путь.

Юсалов оглянулся. На четыре стороны стлалась степь, щетинились камыши; с четырёх сторон глядели на него дула обрезаов. Понял: не уйти.

— Молись богу,— сказал ему передний, рябой, в болотных сапогах, и в ожидании закурил черешневую трубочку.

— Поздно хватились,— побледневшими губами усмехнулся Юсалов.— Теперь мне помирать не страшно: вся станица поёт. А дирижёром заместо меня десяток встанет...

— Брешешь! — гнусаво оборвал его дюжий казак в красном бешмете.— Вот Антанта в Новороссийске войска высадила, танки. Дальний Восток, слышно, Япония заняла, мериканцы. Скоро вам всем, совдепщикам, конец. Ну, будешь креститься или помрешь собачьей смертью?

Отошёл Юсалов от дороги к старому кургану, прошептал дрогнувшим голосом:

— Лягу тут, чтобы не мешать людям на быках

ездить. А вместо молитвы дозвоьте мне лучше, господа бандиты, сыграть песню. Помирать будет легче.

Он снял домру, висевшую за плечом, ударил по струнам, затянул ладным голосом:

Вставай, проклятьем заклеймённый...

Долго стояли хлопцы, потом переглянулись и молча пошли по вытоптанной стёжке в плавни. Вздохнуло, зачавкало болото, метёлки куги и чакана затрещали и сошлись за их спинами. Да только обернулся гнусавый казак в красном бешмете. Облачком поднялся дым, и пуля срезала песню.

Лежал солдат, крестом раскинув руки, и на губах его запеклись слова великого гимна. Высоко над курганом проплывали облака. Высоко с облаков падал ястреб. Проносился ветер, и тихо, но неумолчно пели, звенели струны домры.



